

ЭРНСТ ГАНФШТЕНГЛЬ

**ГИТЛЕР.  
УТРАЧЕННЫЕ ГОДЫ.  
ВОСПОМИНАНИЯ  
СПОДВИЖНИКА  
ФЮРЕРА. 1927-1944**

Эрнст Ганфштенгль

**Гитлер. Утраченные  
годы. Воспоминания  
сподвижника фюрера. 1927-1944**

«Центрполиграф»

## **Ганфштенгль Э.**

Гитлер. Утраченные годы. Воспоминания сподвижника фюрера.  
1927-1944 / Э. Ганфштенгль — «Центрполиграф»,

Откровенные мемуары одного из ближайших соратников Гитлера, относящиеся к периоду его восхождения к власти, являются уникальным свидетельством превращения безвестного молодого идеалиста из мюнхенской пивной в одержимого диктатора. Автор дает яркую, живую и детальную характеристику Гитлеру, который своим нервическим фанатизмом смог очаровать не только народные массы, но и многих выдающихся людей того времени.

© Ганфштенгль Э.

© Центрполиграф

# Содержание

Предисловие	5
Введение	6
Письмо Германа Геринга автору после бегства последнего, чтобы избежать гибели от рук нацистов	9
Глава 1	10
Глава 2	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Эрнст Ганфштенгль Гитлер Утраченные годы Воспоминания сподвижника фюрера

*Памяти Освальда Шпенглера (1880–1936) историка, философа, патриота и друга, чьи проигнорированные предупреждения и пророчества в отношении Гитлера стали такой страшной реальностью*

## Предисловие

Окончательным импульсом, который привел к составлению и опубликованию этих мемуаров, я обязан господину Брайану Коннеллу. Мы встречались с ним несколько лет назад, и он, работая над своими книгами, никогда не упускал из виду историю, которую, как он считал, я мог бы рассказать. Он снова приехал в Германию в 1956 году и подробно обсудил детали сотрудничества, с которыми я согласился. Метода нашей работы была таковой: господин Коннелл провел в Баварии два месяца и каждый день, бесконечными часами записывал на пленку мои рассуждения. Его воображение и энтузиазм человека, задающего вопросы, сумели преодолеть мою неохоту погружаться в горькие воспоминания тех безнадежных лет. На основе этих записей и ранее собранного мной материала он затем подготовил черновик рукописи, которая и привела, после совместной проработки, к настоящему тексту. Тягость расшифровки моих путаных воспоминаний легла на плечи госпожи Коннелл, которой посему я обязан высказать большую благодарность.

В не меньшем долгу я и перед моей женой Ренатой за ее активную помощь в секретарских хлопотах и за терпение в урегулировании этих бесконечных домашних потрясений, которые всегда идут рядом с литературным трудом.

Конечно, эта история – моя, и ответственность за правдивость ее изложения лежит на мне, но надо отдать должное господину Коннеллу за то, что он изобрел относительно безболезненный способ превращения речи в печатное слово и отфильтровал ненужные детали.

Наконец, хочу отдать должное и тем, без кого не было бы этой истории: моим друзьям и товарищам тех лет – многих из них уже нет в живых, – на которых я мог положиться. Они надеялись, работали и рисковали ради того, чтобы потом горько разочароваться, как это было и со мной.

*Эрнст Ганфштенгль*

## Введение

В последовавшие за Второй мировой войной годы, поскольку ключевые фигуры нацистской эпохи выпали из картины, сведения из первых рук о том периоде истории были утеряны. Скоро стало невозможным со слов очевидцев восстановить в деталях те двадцать лет между войнами, которые привели Гитлера к власти, а западный мир – чуть не поставили на колени.

Те, кто стремятся проанализировать движущие силы этих двух десятилетий, были бы удивлены тому, что многие из ближайшего гитлеровского окружения пережили годы войны. Большинство из них были жалкими стариками, неудобными призраками в дождевиках, появлявшимися то в одном, то в другом пригороде Мюнхена: Эмиль Мориц, наперсник раннего периода и первый шофер Гитлера; Герман Эссер, один из немногих партийных ораторов, который мог держаться своей линией, имея дело с хозяином; Генрих Гофман, закадычный друг-фотограф; Зепп Дитрих, телохранитель, а потом генерал СС; даже однорукий Макс Аман, издававший «Майн кампф» и «Фолькишер беобахтер». В ретроспективе все они были незначительными фигурами, не имея ни способности проникать в суть вещей, ни острого мышления, чтобы связно рассказать об этом политическом гении и чудовище, в кильватере которого они существовали. Но один, переживший годы, которые привели Гитлера из неизвестности к вершине власти, был человеком совсем другого калибра – это доктор Эрнст Ф. Седжвик (Пуши) Ганфштенгль.

Ганфштенгль был представителем той вымирающей человеческой особи, которая именуется личность. Один внешний вид выделял его в любой толпе. У него был незаурядный рост – около ста девяноста сантиметров, густые волосы на огромной голове почти не посеребрила седина, даже когда ему за шестьдесят. Поблескивавшие огоньками глаза над рельефным носом и выступающая челюсть отражали бесконечный поток шуточных комментариев и дерзких каламбуров, которые составляли его разговорный фейерверк. Огромные руки Ганфштенгля могли разломать фортепиано в традиции романтики Листа, и было немного людей, кто осмелился бы подвергнуть сомнению его мнение по вопросам, касающимся изобразительного искусства. Если что-то и выдавало его смешанное германо-американское происхождение и воспитание, то это черты чистого кельта. Когда он оглядывался на прожитую жизнь, вобравшую в себя почти десять лет изгнания, то подвижное лицо могло принять вид мстящего друида.

В небольшой группе провинциальных заговорщиков, тяготевших к Гитлеру в первые годы после Первой мировой войны, Ганфштенгль, похоже, выделялся, как мозоль на ноге. Он покинул Германию в зените ее имперской славы, чтобы трудиться в Соединенных Штатах, а когда вернулся, обнаружил свою страну сокрушенной и опустошенной. Его романтическая натура была воспламенена пылкими обещаниями малоизвестного оратора, а разочарование лишь дополнялось триумфом, который он интуитивно предчувствовал. Ганфштенгль стал единственным образованным членом ближнего круга лиц при Гитлере и привнес в их отношения гораздо больше, чем получил сам. Когда он прогрессировал, из окошка Гитлера во внешний мир и переходя от ментора в области искусств к роли непрошеной совести, он сам оставался в росте. Этот процесс занял десяток лет, но потом ему пришлось, борясь за жизнь, спасаться бегством.

Вместе со своей американской женой Ганфштенгль олицетворял некий новый фактор гитлеровского существования. Одно лишь упоминание об этой семье вызывало уважение в Мюнхене. Его отец и дед были советниками при дворах Виттельсбахов и Кобургов. Они были почитаемыми пионерами в области художественных репродукций и выдающимися представителями романтического направления, представленного Рихардом Вагнером и Людвигом II, этим последним, сумасшедшим монаршим меценатом Баварии. Самому Ганфштенглю эта аура Гарварда обеспечивала реальную возможность знакомств с прошлыми, нынешними и буду-



щими президентами Соединенных Штатов, доступ не только в лучшее мюнхенское и германское общество, но и связь с этой неосязаемой сетью международных социальных контактов и какое-то артистическое исполнение, доходившее до самой глубины измученной души Гитлера – умение великолепно играть Вагнера на фортепиано.

Это было событием – услышать гром Ганфштенгля сквозь крещендо прелюдии к «Мейстерзингерам» или «Либестод». Могучие пальцы после войны утратили часть своего мастерства, и ассоциации настроения были скорее эпизодическим воспоминанием, чем музыкальной памятью, но все еще было возможно ощутить влияние, которым обладал этот талант, на столь незрелый разум, на который Пуцци когда-то пытался воздействовать. Ибо задача, которую он поставил перед собой в те эмбриональные годы, была непосильна – сформировать, придать некоторую подобающую государственному деятелю форму колдовскому ораторскому дару и неотъемлемому потенциалу Гитлера.

В отличие от таких провинциальных академиков, как Дитрих Экарт и Готфрид Федер, да псевдоинтеллектуальных фанатиков вроде Рудольфа Гесса и Альфреда Розенберга, Ганфштенгль был единственным образованным человеком из хорошей семьи и с высоким уровнем культуры среди тех, кто находился рядом с Гитлером. Он прожил в Соединенных Штатах пятнадцать лет, оставаясь на свободе под честное слово даже тогда, когда Америка вступила в войну. Ганфштенгль был глубоко пропитан этой скрытой мощью морских держав и всячески пытался отдалить Гитлера от прибалтов, которые жаждали реванша против России, и милитаристов-фанатиков, мечтавших о возвращении «долгов» Франции. Его тезис заключался в том, что Германия никогда не обретет равновесия и величия вновь без сближения с Британией и особенно с Соединенными Штатами, чьему невероятному индустриальному и военному потенциалу он был свидетелем. Основная установка, которую он старался закрепить в мозгу Гитлера, состояла в том, что все мысли о сведении счетов в Европе окажутся иллюзорными, если эти две морские державы присоединятся к противоборствующей стороне.

Протестант по вероисповеданию, Ганфштенгль пытался удержать Гитлера и его главного теоретика Розенберга от кампании против церкви в преимущественно католической Баварии. Он боролся с политическим радикализмом во всех его проявлениях, пытался привлечь Гитлера к традиционным ценностям, которые он сам исповедовал. Вместе со многими другими людьми своего класса и типа Ганфштенгль верил, что Гитлера можно образумить и как личность, и как политика. Всем им суждено было разочароваться и быть, в свою очередь, преданными за неспособность распознать, что главная особенность характера Гитлера была не реформистская, а нигилистская.

Семейство Ганфштенглей было первым, кто пытался сделать Гитлера социально приемлемым. Оно ввело его в мир искусства и культуры и в те ранние годы было почти единственным местом, где он мог себя чувствовать свободно и непринужденно. После путча Людендорфа именно на их виллу в Баварских Альпах он бежал в поисках поддержки. Во время его тюремного заключения Ганфштенгли были, пожалуй, единственными людьми, которые сохраняли ему преданность, а после его освобождения сделали последнюю попытку привить собственные стандарты. Потом случился пробел, пока впереди не стала отчетливо вырисовываться неограниченная власть, Пуцци попробовал (заметим, безуспешно) использовать социальные и музыкальные таланты, которые все еще привлекали Гитлера, для того, чтобы придать революции респектабельные формы, пока не стало слишком поздно.

Ганфштенгль был веселым и занимательным компаньоном, полным шарма и жизненных сил. Он обладал какой-то насмешливой, дразнящей манерой поведения, удивительной способностью к анекдотичному приукрашиванию, и при этом у него полностью отсутствовала сдержанность в ремарках и комментариях. Путци наслаждался привилегией шекспировского шута, перемежая свое фанфаронство едкими и впечатляющими наблюдениями. Более того, он обладал индивидуальным подходом к Гитлеру, с которым никто другой не мог соперничать. В изма-

тывающих паузах решающих политических батальей, часто поздно ночью, Гитлер прибегал к такой форме разрядки, какую ему мог дать только Ганфштенгль, – часовой игре на пианино, которая расслабляла взвинченные нервы Гитлера и часто делала его более восприимчивым к советам Ганфштенгля.

Придя к власти, Гитлер начал освобождаться от респектабельного образа, который Ганфштенгль со своими международными связями обеспечивал для разнородной партийной иерархии. Даже после своего разрыва с Гитлером в конце 1934 года и до своего бегства из Германии в 1937-м Ганфштенгль сохранял за собой номинальный пост главы отдела иностранной прессы при НСДАП. Его открытая оппозиция применяемым нацистами методам и его бескомпромиссная критика тех, кто отвечал за их реализацию, скоро сделала его неуютным для власти. Если бы он выглядел очень принципиальным в своих мемуарах в плане личного неприятия и отношения к нацистскому режиму, то нашлось бы много свидетелей, как немецких, так и зарубежных, которые могли подтвердить каждое его слово. Есть одна история, о которой он не рассказывает. На многочисленном приеме Ганфштенгль назвал Геббельса в лицо свиньей. Последовавшие десять лет изгнания, интернирования и крушения надежд стали дорогой ценой, которую ему пришлось заплатить за свой ранний идеализм.

Свои дни он закончил скромно в том же доме в Мюнхене, где когда-то звучали голоса Гитлера, Геринга, Геббельса, Евы Браун и других давно умерших людей. Его стилю общения и темпераменту было свойственно часами находиться в состоянии глубокой задумчивости. Он был не только одним из лучших рассказчиков своего времени, но и великолепным имитатором, который мог достоверно передать атмосферу и тон голосов во время бесед, проходивших двадцать пять и более лет назад. Закрывать глаза и слышать, как грохочет Гитлер, противится Геринг и разглагольствуют ранние лидеры национал-социализма вроде Дитриха Экарта и Кристиана Вебера, – это напоминало путешествие во времени. Как и его давний приятель, Ганфштенгль был мастером разговорной речи. Где-то в мемуарах, которые я восстановил вместе с ним, он рассказывает о маршах и музыкальных композициях, для которых он сочинил мелодии, полагаясь на других в отношении оркестровки.

Так и передо мной стояла ответственная задача оркестровки потока его воспоминаний.

Как человек истинно артистического склада, он обладал способностью, прибегая к психологии, проникнуть в характер Гитлера и помочь тому в сдерживании чувств. С этой его способностью никто не мог соперничать даже близко. В первую очередь это касается тех, кто был в постоянном контакте с Гитлером в годы формирования того как политика, когда они были вместе. В неполную, хотя и обширную мозаику гитлеровской биографии и нацистской истории он привносит определяющий, убедительный образ Гитлера. Путци был способен оценить, как интеллигентный приятель, невроты, определившие гитлеровскую мегаломанию. Подобных записей не существует, потому что нет или не было никого, кто мог бы рассказать об этом. Если задаться вопросом, какое политическое влияние имел Ганфштенгль на этого неуравновешенного демона, ответ напрашивается сам собой – никакого. Он заслуживает похвалы хотя бы за то, что остался незапятнанным тем произволом, что творил нацистский режим. В конце своего жизненного пути фюрер уже слушал лишь тех, кто угождал ему и потакал абсолютно деструктивным страстям. Но как летописец этого процесса, который сделал Гитлера таким, каким он стал, Эрнст Ганфштенгль был уникален.

*Брайан Коннелл*



## **Письмо Германа Геринга автору после бегства последнего, чтобы избежать гибели от рук нацистов**

Дорогой Ганфштенгль, как мне сегодня сообщили, ты сейчас находишься в Цюрихе и не намереваешься в данный момент возвращаться в Германию.

Я полагаю, причиной тому является твой недавний полет из Штаакена в Вюрцен в Саксонии. Уверю тебя, что все это было затеяно лишь как безобидная шутка. Мы хотели дать тебе возможность подумать над некоторыми весьма опрометчивыми высказываниями, которые ты сделал. Ничего большего и не замышлялось.

Я послал к тебе полковника Боденшатца, который объяснит тебе дальнейшее лично. Считаю, что в силу различных причин жизненно важно, чтобы ты вернулся в Германию вместе с Боденшатцем. Даю тебе слово чести, что ты можешь оставаться среди нас, как делал всегда, совершенно свободно. Забудь свои подозрения и действуй разумно.

С дружескими приветствиями,

Хайль Гитлер!

*Герман Геринг*

*P. S. Ожидаю, что ты согласишься моему слову.*

## Глава 1

### Гарвардский подарок Гитлеру

Ящик для дров рядом с камином в моей библиотеке все еще накрыт пледом, который я одолжил Гитлеру, когда тот был заключенным Ландсберга. Это не какой-нибудь особо чтимый сувенир, но постоянное напоминание о годах его восхождения к власти. В течение того периода я принадлежал к членам внутреннего круга лиц, из которых, возможно, только ваш покорный слуга и является единственным уцелевшим среди тех, кто способен четко выражать свои мысли. Это в мой дом в Мюнхене, теперь старательно восстанавливаемый после мучительных лет изгнания, он впервые пришел поест после освобождения из тюрьмы, и там, почти через десять лет, отмечал с Евой Браун годовщину своего триумфа. Это была первая мюнхенская семья с репутацией, в которую его ввели, когда он был пока еще неизвестен. В течение всего нашего долгого общения я пытался привить ему некоторые нормы и идеи цивилизованного существования только для того, чтобы слышать прекословия невежественных фанатиков, являвшихся его ближайшими друзьями. Я с переменным успехом вел борьбу против Розенберга и его туманной расовой мистики, опять же против Гесса и Хаустхофера с их узким, приземленным и ложным представлением о глобальной политике, против ужасного и окончательно определившего ситуацию радикализма Геббельса.

Говорили, что я был придворным шутком фюрера. Определенно, я рассказывал ему свои шутки, но лишь для того, чтобы создать у него такое настроение, когда он сможет воспринимать мои доводы. Я был единственным, кто мог отбарабанить к его удовольствию на фортепиано «Тристана» и «Мейстерзингеров», и, когда это приводило Гитлера к нормальному мышлению, я часто предостерегал против каких-либо недостойных примеров поведения со стороны одного из его сторонников. Годами он использовал меня, чтобы придать своей нацистской партии респектабельный вид, а когда уже не мог выносить моей публичной критики злодеяний, творившихся в его новой Германии, он выжил меня из страны, пустив по следу гестапо.

О Гитлере и его эпохе были написаны десятки книг. Государственные архивы его режима были обнародованы на Нюрнбергском процессе или с тех пор уже появились в официальных американских и британских изданиях. Я не смею надеяться и даже не попытаюсь соперничать с этой массой документации о его общественной карьере. Что мне все еще кажется упущенным, так это рассказ о человеке, особенно о формировании его характера в течение тех лет, когда я знал его очень хорошо. Когда я встретил Гитлера в начале 1920-х, это был малозаметный провинциальный политический агитатор, разочарованный бывший военный служащий, неуклюжий в своем синем саржевом костюме. Он был похож на провинциального парикмахера в выходной день. Его основная претензия на то, чтобы на него обратили внимание – «золотой голос» и исключительная власть как оратора на трибуне одного из партийных митингов. И даже тогда он настолько не выделялся среди других, что в редких отчетах в печати даже искажали его фамилию.

Ко времени путча Рема в 1934 году, незадолго до того, как я порвал с ним, он стал убийцей, жаждущим власти демоническим чудовищем, о котором мир уже знал и сожалел. Несомненно, черты характера, предопределившие это, присутствовали всегда. Темперамент человека не меняется. Но конечный продукт был результатом сочетания обстоятельств, среды, слишком многих плохих и невежественных советников и, самое главное, личной, внутренней неудовлетворенности, доведенной до абсурда. История, которую я хочу поведать, исходя из близкого знакомства и наблюдений, – это история человека, являвшегося импотентом в медицинском смысле этого слова. Бывшая через край нервная энергия, не находившая нормального выхода, искала компенсации, прежде всего, в подчинении своего окружения, потом – всей

страны и Европы, и оно бы распространилось на весь мир, если бы Гитлера вовремя не остановили. На этой сексуально ничейной земле, на которой он существовал, лишь однажды почти нашел женщину и никогда – мужчину, который мог бы принести ему облегчение.

Мне потребовались многие годы, чтобы отчетливо понять глубину его личной проблемы. Нормальное человеческое существо медленно реагирует на аномалию, и даже тогда пытается убедить себя, что возврат к нормальному состоянию возможен. Гитлер весь состоял из кусков. Его политические концепции были извращенными и авантюрными. Нормальный человек предполагает, что аргумент, пример и доказательство создадут некоторое соответствие общепринятому мнению. И здесь я заблуждался дважды. Я оставался в окружении Гитлера, потому что верил в его природный гений, который должен привести его к вершине. По крайней мере, в этом я не ошибся. Но когда он там оказался, стал ошибаться все чаще. Неограниченная власть в конце концов испортила его. Все, что произошло потом, – это лишь закономерные последствия того, что происходило до этого, вот такую историю я и собираюсь рассказать.

Одна искупительная связь с нацистской иерархией уходит корнями в мои школьные дни. Моим учителем в Королевской баварской гимназии Вильгельма накануне XX века был не кто иной, как отец Генриха Гиммлера. Дед служил жандармом в какой-то деревне на озере Констанс, но отцу удалось утвердиться в обществе, и одно время он являлся наставником принца Генриха Баварского. В результате чего он превратился в жуткого сноба, оказывая протекцию молодым титулованным членам своего класса и презрительно относясь к людям незнатного происхождения, хотя многие из них были выходцами из зажиточных и известных семей. Сын был намного моложе меня, и я запомнил его мертвенную бледность и дурное воспитание, которое приходилось наблюдать в тех случаях, когда я приносил в их дом на Штернштрассе дополнительную работу. В конечном счете он ходил в ту же самую школу, что и я, и припоминаю, что слышал от старших ребят, что у него была устойчивая репутация доносчика, постоянно бегавшего к отцу и другим учителям и рассказывающего о своих соучениках. Но к этому времени я уже был далеко, обучаясь в Гарварде.

Я фактически наполовину американец. Моя мать была урожденная Седжвик-Гейне. Бабушка по материнской линии вышла из хорошо известной в Новой Англии семьи и была кузиной генерала Джона Седжвика, который пал в бою при Спотсильвания-Корт-Хаус в Гражданскую войну и чей памятник стоит в Вест-Пойнте. Мой дедушка – Уильям Гейне также был генералом, участвовавшим в той войне, который состоял при штабе генерала Дикса в поттомаской армии. Выучившись на архитектора, он покинул свой родной Дрезден после либеральной революции 1848 года, помогал украшать здание Оперы в Париже, а потом эмигрировал в Штаты. Там Гейне стал хорошо известным иллюстратором и сопровождал адмирала Перри в качестве официального художника экспедиции в Японию. Участвуя в похоронном кортеже Авраама Линкольна, он нес гроб.

Я не собираюсь заострять внимание на этих личных деталях, но прошлое моей семьи сыграло определяющую роль в отношениях с Гитлером. Ганфштенгли были уважаемыми людьми. В течение трех поколений они являлись личными советниками герцогов Сакс-Кобург-Готских и прославились как знатоки и покровители искусств. Семейное предприятие, которое основал мой дед, было и остается до сего дня одним из старейших в области репродукций произведений искусства. Фотографии моего деда Ганфштенгля, запечатлевшие трех германских кайзеров, Мольтке, Рона, Ибсена, Листа, Вагнера и Клару Шуман, в свое время олицетворяли стандарт качества. Мой отец держал открытыми двери дома на вилле, которую построил на Либиштрассе, являвшейся в то время окраиной Мюнхена. Лишь немногие имена из мира живописи не удостоились права оказаться в гостевой книге, а там отметились Лили Леман, Артур Никиш, Вильгельм Буш, Сарасате, Рихард Штраус, Феликс Вайнгартнер и Вильгельм Бакхауз. Мои родители дружили с Фритьофом Нансеном и Марком Твенем. Атмосфера была

практически интернациональной. Отец окрасил часть этого дома в зеленые тона, потому что это был любимый цвет королевы Виктории, чей подписанный портрет с посвящением ему по какому-то случаю смотрел на нас из тяжелой серебряной рамы. Беседы густо сдабривались французскими выражениями. Гости сидели в *chaise-longue* (шезлонге) за *paravent* (ширмой), с закрытыми *rouleaux* (шторами), а дамы страдали от *migraine* (мигрени). *Teint* (краска) была обработана *parfum* (ароматизатором), а друзья назначали *rendez-vous* (встречу) для разговора *tete-a-tete* (с глазу на глаз) в *foyer* (фойе) оперы. Моя семья относилась к монархистам склада Бисмарка, так что нет нужды говорить о личной антипатии к Вильгельму III.

В то же время в семье царил огромный энтузиазм, вызванный социальным и техническим прогрессом. Были сильны либеральные традиции 1848 года. У нас даже имелась собственная ванная комната, в то время как принц-регент раз в неделю ходил в недавно отремонтированный отель «Четыре времени года», чтобы его там отмыли и отчистили. Непримируемый спор между капитализмом и социализмом становился все острее, и великим пророком новых отношений между нанимателем и работником стал Фридрих Науман с его национал-социальными идеями. Я припоминаю, что, когда мне еще не было и тринадцати, стал регулярным читателем журнала *Die Hilfe*. Пропагандировавшаяся в нем социальная монархия на базе христианского социализма осталась моей сильнейшей политической привязанностью. Поскольку мне пришлось учиться на собственном горьком опыте, то это был не тот тип национал-социализма, который проповедовал Гитлер.

Таковой в целом была атмосфера, когда я родился в 1887 году, и от которой наши дни отделяют, по крайней мере, три мира. В то же время появилось и мое детское прозвище Пуци, из-за которой я вынужден переживать до сих пор. В возрасте двух лет я заболел дифтерией. В те времена всяким сывороткам и детской хирургии доверяли мало. Жизнь мне спасла какая-то старая крестьянская женщина, служанка, которая кормила меня из ложечки, приговаривая: «Мальчуган, а теперь съешь это, мальчуган!» В баварской деревне слово «путци» означает «мальчуган», и хотя мне сейчас уже семьдесят и во мне все еще сто девяносто сантиметров роста, детское прозвище так и приклеилось ко мне.

У меня было три гувернантки, любимая из которых Белла Фармер, пахнущая розами и кремом английская красавица, приехавшая из Хертлпулса. Ее по просьбе отца во время одной из его поездок в Англию нашла жена великого викторианского художника Альма-Тадена. Она как самая симпатичная была на конкурсной основе отобрана моей матерью. И все равно наиболее сильное влияние на меня в отроческие годы оказал главный старшина Штрайт. Это был величественный мужчина, сын лесничего в Киссингене. Служа в баварской королевской гвардии, он отрастил впечатляющие усы, и мой отец взял его на работу по рекомендации своего товарища, генерала фон Эйлера, чтобы вложить хоть немного важного в голову сыновей, которые могут оказаться под дурным влиянием легкомысленных взрослых. Он приходил каждую субботу после обеда, чтобы обучать нас азам военной науки, и заставлял маршировать взад-вперед по лужайке, как Фридрих Великий. Я полагаю, что даже моя несчастная сестра Эрна не избежала данной участи.

Штрайт обычно делал вид, что сердится на нас, как на неуклюжих рекрутов, но мы его обожали. У него была внушительная фигура, и он завораживал нас историями о воинской доблести, хотя где он их находил, я не знаю, потому что не уверен, что баварская армия когда-либо побеждала хоть в одном сражении. Все это имело для меня особое значение, особенно когда я находился в Америке с 1911 по 1921 год в отрыве от цивилизации, не поучаствовав в Первой мировой войне. С тех пор я так и не смог подавить горькую тоску и комплекс неполноценности относительно службы, пропущенной мной. Война косила мое поколение и погубила двух братьев.

Было решено, что моя доля в семейном предприятии будет установленным порядком передана филиалу, который мой отец основал в 1880-х годах на 5-й авеню в Нью-Йорке. Пер-

вым моим шагом должно было стать знакомство со страной моей матери, поэтому в 1905 году меня отправили в Гарвард. Это был весьма продуктивный период. Я сдружился с Т.С. Элиотом, Уолтером Липпманом, Хендриком фон Луном, Гансом фон Кальтерборном, Робертом Бенчли и Джоном Ридом, которые прославились на весь мир. Почти случайно я стал желанным гостем в Белом доме. Я был в то время крепким парнем и пытался создать команду. Одним холодным весенним утром мы тренировались на Чарльз-Ривер, когда какой-то парень из каноистов попал в беду: оказавшись во власти стремительного течения, стал захлебываться. Похоже, все посчитали это шуткой, но я предпочел действовать, прыгнув в лодку, погреб к нему. Он уже полностью ушел под воду, когда я добрался до него. Пришлось нырять в одежде и затаскивать его в лодку.

На следующий день бостонская Herald and Globe вышла с огромным рассказом под заголовком «Ганфштенгль – герой из Гарварда» о том, как этот парень (видимо, студент факультета теологии) без меня наверняка бы утонул и т. д. Одним словом, чистейшая ерунда. Мое имя было ужасно искажено, но обо мне узнали в колледже. Так я познакомился с Теодором Рузвельтом, старшим сыном президента.

В Гарварде я обрел репутацию пианиста. И тому была причина. Моими учителями в Мюнхене являлись Август Шмидт-Линднер и Бернард Штавенхаген, последний ученик Листа, что позволило овладеть техникой романтической школы. Тем не менее тогда существовал спрос на энергичную технику исполнения американских футбольных маршей. Один, под названием «Фаларах», я даже сочинил сам, используя для этого старую немецкую мелодию. Гарвардская футбольная команда обычно брала меня с собой для поднятия духа. Я играл на фортепиано перед их матчами. Президент Рузвельт, коммуникабельный, общительный молодой человек, узнал о моих достижениях от своего сына и в один из зимних дней 1908 года пригласил меня в Вашингтон. В последующие годы мне часто приходилось видеть его, но мое главное воспоминание – холостяцкая вечеринка в предрассветные часы в цокольном этаже Белого дома – связано прежде всего с тем, что я порвал семь басовых струн в его прекрасном «Стейнвее».

В Германию из Гарварда я вернулся в 1909 году, чтобы в течение года пройти военную службу в королевской баварской гвардейской пехоте. Со всеми существующими уставами мы вполне могли бы оказаться и в XVIII веке. Мы исполняли команду «На плечо!», строились для церемонии поднятия флага, стояли на карауле у королевского дворца, и мой единственный опыт, хоть как-то напоминавший военную службу, связан с тем, что некоторые друзья по Гарварду во главе Хэмилтоном Фишем (впоследствии конгрессменом США – изоляционистом), увидев меня на посту, стали угрожать, что снимут мою островерхую каску и будут играть ей в футбол перед Фельдхерн-халле (Залом героев). Однако когда я пригрозил, что вызову охрану, они оставили меня в покое. Потом, после года учебы в Гренобле, Вене и Риме, я возвратился в Штаты и возглавил филиал Ганфштенгля на 5-й авеню.

Чаще всего я питался в клубе Гарварда, где подружился с молодым Франклином Д. Рузвельтом, в то время перспективным сенатором от штата Нью-Йорк, и получил приглашение посетить его двоюродного брата Тедди, бывшего президента США, который проживал в своем имении в Сагамор-Хилл. Он оказал мне бурный, радушный прием и дал пару советов, которые никоим образом не прошли бесследно для меня. «Слушай, Ганфштенгль, – обратился он, – а как проходила твоя военная служба? Бьюсь об заклад, она тебе не повредила. Я немного познакомился с вашей армией в Доберице, когда гостил у кайзера. От подобной дисциплины никто еще не страдал. Ни одна нация, проповедующая подобные стандарты, не может вырождаться». Должен сказать, мне эти слова показались удивительными, поскольку как раз в то время стараниями Вильгельма II Германия была далека от популярности. Это стало еще одним подтверждением, касающимся идеализации службы в армии, к которой привил мне интерес главный старшина Штрайт. Потом наш разговор перешел на темы живописи, литературы и политики. И

тут бывший президент выдал фразу, которую не могу забыть до сих пор: «Ганфштенгль, твое дело отбирать лучшие картины, но помни, что в политике выбор – меньшее из зол».

Представительство Ганфштенгля являло собой восхитительное сочетание бизнеса и наслаждения. Вот имена тех, кто его посетил: Пирпойнт Морган, Тосканини, Генри Форд, Карузо, Сантос Дюмон, Чарли Чаплин, Падеревски и дочь президента Вильсона. Когда разразилась война, не могу сказать, что был удивлен. Еще за несколько лет до этого один мой старый друг по Гарварду из Нового Орлеана по имени Фредди Мур, большую часть своей жизни проживший в Константинополе, говорил мне: «Имей в виду, Ганфи, следующая война начнется не на франко-германской границе, а на Балканах». После выстрелов в Сараеве его пророчество сбылось.

Мало кто сомневался, на чьей стороне в долгосрочной перспективе окажутся американские симпатии, но я изо всех сил старался высоко держать германское знамя. Обычно я приглашал оркестры с германских кораблей, блокированных в гавани Нью-Йорка, для выступлений в организации Ганфштенгля перед представителями нашей колонии. Когда при звуках исполняемого оркестром «Дозора на Рейне» толпа высказывала недовольство, я тут же просил музыкантов сыграть «Голубой Дунай». Но для населения, которое дошло до того, что рассматривало немецких такс как членов «пятой колонны», это была лишь легкая разминка. Мне однажды разбили витрины, и после этого я счел осторожность и благоразумие лучшей составляющей отваги и героизма. Когда Америка в конце концов присоединилась к Антанте, мне повезло, что моим адвокатом оказался госсекретарь Теодора Рузвельта. Меня не стали интернировать в обмен на обещание не ввязываться ни в какую антиамериканскую деятельность. «Если б мог, я бы тут все взорвал, но одного жалкого мостика явно недостаточно, чтобы переменить военную удачу», – заявил я американцам. А посему меня не тронули, хотя моя свобода передвижения была ограничена фактически Центральным парком. И все же это не помешало в последние месяцы войны опекуну вражеской собственности отобрать имущество фирмы Ганфштенгля. Стоимость его была полмиллиона долларов, а продали на аукционе примерно за 8 тысяч. Тем не менее сразу же после заключения перемирия мне разрешили открыть маленький бизнес, который я назвал «магазином академии художеств». Он находился как раз напротив Карнеги-Холла, и это приносило прибыль в течение следующих трех лет.

Новости из Германии были скудными. Я слышал, что большевики захватили власть в Мюнхене, но в то время слово не имело того значения, что ныне, и у меня скорее создавалось впечатление, что это некая форма протеста народа против победителей, и я ни в коей мере не испытывал неудовольствия. В связи с роспуском дипломатического представительства мне пришлось задержаться в Штатах, а в 1920 году я женился. Жену мою звали Елена Нимейер, и она была единственной дочерью германо-американского бизнесмена, эмигрировавшего из Бремена. Спустя год родился наш сын Эгон. Я остро почувствовал, что настало время вернуться домой, и, продав имущество своему партнеру – похожей на апостола личности по имени Фридрих Денкс, сыну лютеранского священника, мы в июле 1921 года поднялись на борт парохода «Америка», отправлявшегося в Бремен. Я отсутствовал в Германии десять лет и путешествовал, имея на руках внушительный документ, выданный швейцарским консулом в Нью-Йорке, в качестве представителя германских интересов. Это было незадолго до того, как консул спас жизнь Адольфу Гитлеру.

Я обнаружил Германию расколотой на фракции, на грани нищеты. Рабочие, сторонники центристской партии и капиталисты поддерживали новую республику, юнкера – верхний средний класс, а крестьяне тосковали по старой монархии. Даже бодрящий, пропитанный солодом воздух Мюнхена не мог компенсировать вида некрашенных домов и облезшего фасада великого придворного театра. Моя семья в составе моей матери, Эрны и моего старшего брата Эдгара приехала на вокзал, чтобы встретить нас. Первая проблема, с которой мы столкнулись в отеле «Четыре времени года», была связана с поисками молока для маленького Эгона. Оно выдава-

лось по карточкам, и то его не было, правда, можно было заказать большое количество кофе, чтобы иметь право на получение мизерных порций сливок. К счастью, моя мать, верная своему коннектикутскому прошлому, приобрела небольшую ферму возле Уффинга на озере Штафель у подножия Альп. Так что, в отличие от большинства немцев, мы не испытывали нехватки продуктов. И даже в этих условиях маму обидно обманывали фермерские работники, которые пользовались растущими из-за инфляции ценами, чтобы торговать продуктами на черном рынке и присваивать разницу.

Наверно, первым политическим событием, ознаменовавшим мое возвращение, стало убийство двумя молодыми праворадикалами Матиаса Эрцбергера, который подписал перемирие 1918 года. Сообщения о взаимных угрозах, проявлениях сепаратизма, путчизма и терроризма заполняли колонки газет. Тон прессы с каждым днем обретал все более грубый и оскорбительный характер. Мне стало ясно, что Германия, политически выражаясь, превратилась в сумасшедший дом со своими тысячами мнений и без каких-либо спасительных идей. Я причислял себя к консерваторам или, по крайней мере, к монархистам, оглянувшись назад в те счастливые дни Людвига II и Рихарда Вагнера. Как и для большинства эмигрантов, часы для меня остановились в тот момент, когда я покинул Германию, и чувствовал, что все, что было в прошлом и напоминало мне минувшие дни, было хорошим, а новое, не вписывающееся в эту концепцию, – плохим. Меня обижало презрение, проявляемое к армии, и причиняла страдания бедность честных художников. Сам я был избавлен от лишений предыдущего десятилетия и хотел помочь всем страждущим, но не мог найти никакого выхода.

Чтобы найти точку опоры, я решил заняться изучением германской истории. Мы сняли квартиру, принадлежавшую падчерице художника Франца фон Штюка по адресу Генцштрассе, 1, в Швабинге, этом Монпарнасе Мюнхена, и я обратился к своим книгам в надежде, что предстоящие события помогут разобраться в дилемме нашего времени. В лице американского лоялиста Бенджамина Томпсона, графа Рамфорда, я обнаружил идеальную фигуру, вокруг которой сконцентрируются мои исследования. В последнюю декаду XVIII столетия он реорганизовал администрацию и общественную жизнь Баварии для электора Карла Теодора. Я обнаружил так много схожих параллелей в его работе над социальной реформой, что решил написать о нем книгу.

Один из тех, с кем я обсуждал свой план, был Рудольф Коммер, блестящий австрийский писатель, которого я знал еще по Нью-Йорку. Он тут же разглядел в этом проекте великолепную идею для фильма, и большую часть лета 1922 года я работал с ним над сценарием на вилле в Гармиш-Партенкирхене. В конце концов мы сотворили нечто, по своим масштабам соответствовавшее «Войне и миру» Толстого, поэтому вряд ли стоит удивляться, что фильм так и не был сделан. Тем не менее утешение нашлось в большой дружной компании интеллектуалов, включавшей в себя многих его еврейских друзей вроде Макса Палленберга, этого известного актера, и его еще более знаменитую супругу Фритци Массари. Из-за их циничного пренебрежения по отношению к старому режиму мы находились на противоположных полюсах, но стали верными друзьями.

Одно пророчество Коммера годами оставалось в моей памяти. Я встретил его, когда прохаживался по Партнахклам в тот день, когда газеты принесли весть о еще одном политическом убийстве, на этот раз министра иностранных дел Вальтера Ратенау – еврея. Это произошло в то время, когда антисемитская кампания в Германии приобретала серьезный размах, и совсем недавно сыпь красных свастик измарала стены и камни вокруг Гармиша оскорбительными антиеврейскими надписями.

«Это – грязное дело, которое организовали твои друзья-монархисты, – сказал Коммер. (Он сказал «монархисты», так как термин «национал-социалист» в то время вряд ли был известен.) – Их расовый романтизм приведет в никуда. Есть лишь одна опасность. Если возникнет какая-либо политическая партия с антисемитской программой, руководимая еврейскими



или полуеврейскими фанатиками, нам придется быть настороже. Они станут единственными людьми, которые смогут добиться успеха». Насколько он был прав, покажет время.

Здесь еще далеко от Гарварда до Гитлера, но в моем случае эта связь – прямая. В 1908 году я принял участие в спектакле, называвшемся «Факиры судьбы», в «Хасты-Паддинг-клуб». В нем я был одет по суперстуденческой моде в голландскую девушку по имени Гретхен Шпутц-файфер. Еще одним участником этой труппы был Уоррен Роббинс. В 1922 году он стал старшим чиновником в американском посольстве в Берлине, и как раз в это время я в течение года жил в Мюнхене. Мне довелось увидеть его незадолго до этого, и в первой половине ноября он мне позвонил по телефону. «Слушай, Ганфи, – сказал он. – На что вы, баварцы, способны?» Мне пришлось объяснить ему, что, будучи в полном сознании, я все равно не смогу ничем помочь. В те беспокойные годы вся страна превратилась в очаг политической агитации, и я, естественно, не старался держать в голове нити всех событий. «Ладно, мы придем к вам нашего военного атташе капитана Трумен-Смита, чтобы он смог осмотреться, – продолжал Роббинс. – Присмотри за ним и познакомь его с некоторыми людьми, хорошо?»

Этот офицер оказался очень приятным молодым человеком примерно тридцати лет, выпускником Йеля, но, несмотря на это, я чувствовал, что был ему приятен. Я дал ему письмо для Пауля Никлауса Космана, редактора *Munchener Neueste Nachrichten*, и пригласил заглянуть к нам домой пообедать в любое удобное для него время. Должен сказать, он трудился, как бобр. В течение нескольких дней он повидал кронпринца Рупрехта, Людендорфа, герра фон Кара и графа Лершенфельда, являвшихся основными фигурами в правительственных кругах, а также других влиятельных людей. Скоро он знал о баварской политике больше, чем я сам. Мы пообедали с ним в последний день его пребывания в Мюнхене, который выпал на 22 ноября. Он сообщил мне, что более или менее покончил с чередой визитов. В посольстве его уже ожидали, и он уезжал ночным поездом.

– Однако скажу тебе одну вещь, – произнес он. – Я встретил самого замечательного парня из всех, кого видел сегодня утром.

– Действительно? – отреагировал я. – И как его зовут?

– Адольф Гитлер.

– Вам, должно быть, дали неверное имя, – возразил я. – Может быть, вы хотели сказать Гильперт – есть такой немецкий националист, хотя не могу сказать, что вижу в нем что-то особенное.

– Да нет же, нет, – настаивал Трумен-Смит, – Гитлер. Вокруг немало плакатов с объявлением о митинге, который состоится сегодня вечером. Говорят, там подпись «Вход евреям воспрещен», но одновременно у него самая убедительная линия относительно германской чести, прав для рабочих и нового общества... У меня такое впечатление, что он собирается сыграть важную роль, и нравится ли он вам или нет, но наверняка знает, чего хочет... Мне дали билет для прессы на сегодняшний митинг, а я вот не могу на него пойти. Может быть, ты взглянешь на него ради меня и сообщишь о своих впечатлениях?

Вот так я встретился с Гитлером впервые.

Я проводил Трумен-Смита до станции, где нам повстречалась крайне неприятная личность, кого-то ожидавшая на платформе. Трумен-Смит познакомил нас: «Это господин Розенберг. Он пресс-атташе Гитлера, дал мне билет на сегодняшний вечер». На меня он не произвел никакого впечатления. Когда мы проводили поезд, мой новый знакомый поинтересовался, не мог бы он сопроводить меня на митинг. Мы сели в трамвай и поехали в сторону пивного зала «Киндлькеллер», где он проходил.

«Киндлькеллер», имевший форму прописной буквы «L», был забит до отказа самыми разными людьми. Здесь были мелкие лавочники, консержки, бывшие офицеры, мелкие государственные служащие, ремесленники, много молодежи, значительная часть которой носила

баварские национальные костюмы. Мы с Розенбергом протиснулись сквозь толпу к столику прессы, находившемуся по правую сторону от трибуны.

Я огляделся вокруг и не увидел среди слушателей и тех, кто находился на помосте, ни одного знакомого. «А где Гитлер?» – поинтересовался я у журналиста средних лет, стоявшего рядом со мной. «Видите вон тех троих? Низкий – это Макс Аман, тот, что в очках, – Антон Дрекслер, а третий – Гитлер». В своих тяжелых ботинках, темном костюме и кожаном жилете, полустоячем белом воротнике, со странными усиками, он на самом деле не производил особого впечатления. Похож на официанта в каком-нибудь привокзальном ресторане. Тем не менее, когда Дрекслер под рев аплодисментов представил его, Гитлер выпрямился и прошел мимо столика для прессы быстрым, уверенным шагом. Ни дать ни взять солдат в штатском.

Атмосфера в зале была наэлектризована до предела. Очевидно, это было его первое появление на публике после того, как он отсидел небольшой срок за obstruction митинга, посвященного какому-то баварскому сепаратисту по имени Баллерштедт, так что ему следовало быть осторожным в своих высказываниях, иначе полиция опять могла его арестовать как возмутителя спокойствия. Возможно, это обстоятельство придавало особую пикантность его выступлению, подобного которому по иносказанию и иронии я никогда не слышал, даже от него. Никто из тех, кто судит о его ораторских способностях по выступлениям последующих лет, не может по-настоящему оценить его дар. Время шло, и Гитлер пьянел от собственной риторики перед огромной аудиторией, а голос терял свое привычное звучание из-за использования микрофона и громкоговорителя. В свои ранние годы он умело управлял голосом, подкрепляя сказанное мимикой и жестами. И в тот вечер он был в ударе.

Я был от выступающего в каких-то трех метрах и внимательно наблюдал за ним. Первые десять минут он стоял по стойке «смирно», делая хорошо аргументированный обзор исторических событий прошедших трех-четырех лет. Спокойным, уверенным голосом он рисовал картину того, что происходило в Германии с ноября 1918 года: крушение монархии и капитуляция в Версале; создание республики на фундаменте чувства вины за войну; уловки международного марксизма и пацифизма; лейтмотив вечной классовой борьбы и в результате этого – патовая ситуация между нанимателями и наемными работниками, националистами и социалистами.

В учтивости и изяществе некоторых фраз и скрытой злобе его намеков чувствовался какой-то оттенок беседы в венском кафе. Его австрийское происхождение не вызывало никакого сомнения. Хотя большую часть времени он говорил с акцентом, присущим для Верхней Германии, его все же выдавали отдельные слова. Помню, как он произносил первый слог слова «Европа» или «европейский» в латинском стиле, «айю», что типично для Вены, вместо северогерманского «ой», и были еще другие примеры, которые трудно отобразить на английском языке. Когда он почувствовал, что аудитория становится заинтересованной в том, что он хочет сказать, он спокойно отставил левую ногу, как солдат, непринужденно стоящий в фильме с замедленным воспроизведением, и при жестикуляции стал использовать кисти рук и сами руки, а подобных наработок у него было великое множество. Не было никакого рывканья и воплей, которые у него появились позже, и он обладал оригинальным, остроумным насмешливым юмором, который звучал, не будучи оскорбительным.

Он набирал очки отовсюду по очереди. Первым он раскритиковал кайзера за слабование, а потом набросился на сторонников Веймарской республики за подчинение требованиям победителей, которые лишили Германию всего, кроме могил жертв войны. Слышалась сильная нота при обращении к бывшим военным, присутствовавшим среди собравшихся. Он сравнивал сепаратистское движение, и особенно религиозное среди баварских католиков, с солдатским братством на передовой, когда не спрашивают у раненого товарища, какой тот религии, перед тем как броситься к нему на помощь. Он долго рассуждал насчет патриотизма и наци-

ональной гордости и приводил в пример Кемаля Ататюрка в Турции и Муссолини в Италии, который за три недели до этого совершил марш на Рим.

Он нападал на военных спекулянтов, и я вспоминаю, как он заработал гром аплодисментов, когда обрушился на них с критикой за растрату иностранной валюты на импорт апельсинов из Италии для богатых, когда нарастающая инфляция заставляет половину населения страны голодать. Он нападал на евреев, не столько подводя расовую основу, сколько обвиняя их в бизнесе на черном рынке и в том, что они наживаются на страданиях окружающих, и это обвинение было слишком легким, чтобы сделать из него знамя. Потом он принялся обличать коммунистов и социалистов в стремлении разрушить германские традиции. «Все эти враги народа, – заявлял он, – когда-нибудь будут ликвидированы, с ними будет покончено». Это было совершенно уместное в тех обстоятельствах слово, и я не видел в нем никакого ужасного скрытого смысла. Сомневаюсь, что оно имело то значение в мыслях Гитлера, которое обрело позднее, но тогда до тех времен еще лежал долгий путь.

Приступая к своей любимой теме, он начинал говорить быстрее, его руки эффектно подчеркивали основные места сказанного, символизируя повышение и понижение модуляции голоса, подчеркивая значимость проблем и скоротечное пиццикато его идей. Временами встречались междометия. Затем Гитлер слегка поднимал правую руку, как будто стараясь поймать брошенный мяч, или складывал руки и одним-двумя словами привлекал на свою сторону аудиторию. Техника его речи напоминала фехтовальные выпады и отражение ударов. Иногда он был похож на искусного скрипача, который, никогда не доводя смычок до конца, всегда оставлял надежду на извлечение какого-то звука.

Я осмотрел присутствовавших. Была ли это та неподдающаяся описанию, трудноопределимая толпа, которую я видел лишь час назад? Что вдруг овладело этими людьми, которые в условиях безысходного падения нравов и уровня жизни погрязли в ежедневной борьбе за выживание? Прекратились шум и звяканье кружек, люди упивались каждым доносившимся словом. В нескольких метрах от меня сидела молодая женщина, не сводившая глаз с оратора. Прикованная к месту, как в каком-то религиозном экстазе, она перестала быть сама собой и находилась целиком во власти чар деспотической веры Гитлера в будущее величие Германии.

Гитлер прервал речь, чтобы стереть пот со лба, и сделал большой глоток из бокала с пивом, который придвинул к нему какой-то мужчина средних лет с темными усами. Трудно было понять, то ли Гитлер пил, чтобы дать аудитории возможность поаплодировать, то ли они аплодировали, чтобы дать возможность выпить.

– Это Ульрих Граф передал ему пиво, – сказал мне сосед. – Он телохранитель Гитлера и следует за ним повсюду. Вы знаете, в некоторых странах за голову Гитлера назначена цена.

Я посмотрел на Графа и заметил, что тот, забрав бокал, правую руку вновь сунул в оттопыривающийся карман своего пальто. По тому напряжению, с которым он держал ее там, по глазам, которые уставились на передние ряды, я догадался, что у него там револьвер.

Аудитория ответила финальным взрывом бешеных возгласов, аплодисментов и канонадой ударов по столам. Это походило на демонический треск и барабанную дробь градин, скачущих по поверхности какого-то гигантского барабана. Организаторы мастерски подготовили и провели представление. На меня Гитлер действительно произвел впечатление, которое не поддавалось объяснению. Несмотря на его провинциальные манеры, он, казалось, обладал намного большим кругозором, чем обычный германский политик, встречавшийся до сих пор. При невероятном ораторском даре Гитлер явно строил грандиозные планы. А из тех, кто его окружал, как я понял, видимо, никто не был способен довести до него объективную картину окружающего мира, которой ему явно не хватало. В этой ситуации я чувствовал, что мог бы помочь. Казалось, он не имел представления о той роли, которую сыграла Америка в достижении победы в войне, и рассматривал европейские проблемы с узкой, континентальной точки зрения. И тут, по крайней мере так полагал, я мог бы корректировать его.

Но это все – на будущее. А сейчас он стоял на помосте, приходя в себя после отлично сыгранной роли. Я подошел к нему, чтобы представиться. Он стоял – простодушный, но убедительный, любезный, но бескомпромиссный, лицо и волосы были мокрыми от пота, полустоячий воротник, пришпиленный квадратными, под золото английскими булавками. Разговаривая, он прикладывал к лицу нечто отдаленно напоминающее носовой платок, озабоченно поглядывая на многочисленные открытые двери, через которые врывались сквозняки холодной ноябрьской ночи.

– Герр Гитлер, меня зовут Ганфштенгль, – произнес я. – Капитан Трумен-Смит просил меня передать вам его наилучшие пожелания.

– Ах да, этот большой американец! – ответил он.

– Он убедил меня прийти сюда и послушать вас, и я могу сказать, что на меня это произвело огромное впечатление, – продолжал я. – Я согласен с тем, что вы говорили, на девяносто пять процентов и очень хотел бы когда-нибудь поговорить о многих других вещах.

– Да, конечно, – сказал Гитлер. – Уверен, мы не будем ссориться из-за каких-то пяти процентов.

Он произвел очень приятное впечатление, выглядя скромным и приветливым. Мы пожали друг другу руки, и я отправился домой. Той ночью я долго не мог заснуть. Мои мысли все еще мчались наперегонки с впечатлениями, оставшимися от того вечера. Там, где наши консервативные политики и ораторы катастрофически проваливались, пытаясь установить хоть какой-то контакт с простыми людьми, этот сделавший сам себя человек, Гитлер, явно преуспел, выдвигая такую программу, какую от него ждут. С другой стороны, мне не понравился внешний вид его ближайших сторонников, которых я увидел. Розенберг и люди, окружавшие его, казались мне явно сомнительными типами. Потом мне пришел в голову и несколько успокоил афоризм Ницше: «Первые сторонники какого-либо движения никогда не предпринимают ничего против него».

## Глава 2

### Тристан на Тьерштрассе

Хотя я и оказался во власти магии ораторского искусства Гитлера, но все же с оговорками. Когда я услышал его выступление во второй раз, он на меня произвел меньшее впечатление. Я опоздал и, не желая доставлять беспокойство другим, оставался возле дверей. Расстояние уменьшало мощь и магнетическую притягательность голоса Гитлера и делало выступление более обезличенным, скорее похожим на чтение какой-то газеты. Он угрожал чудовищной кампанией подстрекательства к насилию над французами, если те оккупируют Рур. «Если правительство не встанет на защиту нации, – говорил он, – то нация должна действовать сама за себя». Завуалированными словами он намекал на план восстания по оказанию сопротивления французскому вторжению в Рейнскую провинцию путем партизанской войны. Это звучало для меня как речь головореза, отчаянного человека. Перенаселенная Германия никогда не приспособится к ведению войны нерегулярными шайками франтирьеров.<sup>1</sup> Когда бы Гитлер ни касался международной политики, он всегда выражал при этом несоразмерные и экстравагантные взгляды. Было ясно, что он не очень представляет, как выглядит Германия, если посмотреть на нее со стороны. И все-таки нашлось что-то такое, что примирило меня с ним – некий космополитический ингредиент, этот особый дунайский стиль – более широкий германский политический горизонт, с которым я столкнулся в студенческие годы в многоязычной Вене. Что же было на уме у этого любопытного человека? Я ощутил импульс потребности встречи с ним в более узком кругу и разговора наедине.

Через некоторое время состоялся еще один митинг в «Циркус-Кроне», и я взял с собой жену и пару друзей, чтобы послушать его, расположившись в одной из лож. Насколько я помню, в нашей компании были первая жена Олафа Гульбрансона, известного художника и карикатуриста в *Simplicissimus*, и фрау фон Кольбах, вдова знаменитого художника. После митинга мы подошли, и я представил Гитлеру наших дам. Моя жена – блондинка, красавица и американка – привела его в восторг. Он с большой охотой согласился в ответ на ее слова, что мы были бы рады, если б он зашел к нам домой на кофе или пообедать вместе. Скоро он стал нас часто посещать, выглядя таким приятным и скромным в своем коротком синем саржевом костюме. Гитлер был уважителен, даже робок, и очень внимательно относился к соблюдению определенных норм, которые все еще были в моде в Германии между представителями более низкого разряда, когда они общались с людьми образованными, титулованными либо имеющими академические познания. Что прежде всего привлекало внимание, глядя на него, так это необычный блеск в его синих глазах, чувствительные, очень подвижные руки, да еще, конечно, необыкновенный дар выразительности, экспрессии в разговоре.

В нем было нечто притягательное, обворожительное, вроде той непосредственности, что привлекает детей, и Эгон стал ему предан. Помню, как-то раз прямо перед его визитом ребенок ушиб колено о ножку отворотительного кресла в стиле псевдоренессанса, являвшегося частью обстановки квартиры. Оно было вырезано в форме льва с высунутым языком – очень похожего на одну из гаргулий Нотр-Дама. Удар был очень болезненный, и Эгон начал кричать от боли. Доложили о прибытии Гитлера, и он вошел в комнату как раз в тот момент, когда я пытался успокоить мальчика, шлепая льва и приговаривая: «Вот тебе, вот тебе! Мы тебя отучим кусаться!» или что-то в этом роде. Гитлер подошел к нам и несильно ударил льва по другой лапе, именно так, чтоб сохранить порядок. И естественно, Эгон засиял. Это стало для

---

<sup>1</sup> Франтирьеры – вольные стрелки. (Примеч. пер.)

них такой игрой. Каждый раз, когда Гитлер приходил, он шлепал льва и говорил мальчику: «Ну и как, сейчас он хорошо себя ведет?»

Иногда рассказывают разные истории, например, что мы обучали Гитлера умению вести себя за столом. Это не так. Он не был таким уж невоспитанным. Но у него были некоторые необычные пристрастия. Гитлер был невероятным сладкоежкой, и ему всегда не хватало любимых австрийских пирожных со взбитыми сливками. Во время одного из застолий мне вздумалось угостить его бутылкой лучшего Gewurtztraminer князя Меттерниха. Меня позвали к телефону, а возвратившись в комнату, я обнаружил, что он ложками с верхом накладывает в стакан сахарную пудру. Я сделал вид, что ничего не заметил, а он с явным удовольствием выпил эту смесь.

Он был ненасытным читателем и буквально проглатывал историческую литературу, которую я собирал. Он мог без конца читать о Фридрихе Великом и Французской революции, исторические уроки которой он пытался проанализировать для выработки политики в условиях существующих в Германии проблем. Многие годы Фридрих был его кумиром, и он без устали приводил примеры побед короля над значительно превосходящим по численности противником в ходе создания Пруссии. Его одержимость мне не казалась чем-то особенным, потому что Фридрих всегда был человеком, знавшим, когда следует остановиться. Проблема была в том, что, придя к власти, Гитлер перенес свою историческую лояльность на Наполеона, который не знал меры ни в чем – недостаток, который в конце концов и вовлек Гитлера в такую же катастрофу.

Другим политическим и военным властителем дум Гитлера был Клаузевиц, которого он мог цитировать бесконечно, и тот являлся еще одним источником гибели Гитлера. Ни он сам, ни кто-либо другой из его окружения – а надо помнить, что в основном те же самые друзья-заговорщики 1920-х годов пришли к руководству Германией в 1930-х, – не имели какого-либо представления о мощи морских держав. Для них политика великой державы была основана на ограниченных действиях, в частности ведении сухопутной войны. К сожалению, за десять лет борьбы за влияние на образ мышления Гитлера мне ни разу не удалось донести до него значение Америки как важного и неотъемлемого фактора в европейской политике.

Моя попытка отвлечь его от опасной мысли о необходимости реванша у Франции как средства восстановления позиций Германии в мире состоялась во время одного из его первых визитов. Мы сидели вместе после обеда, когда он весьма скромно спросил: «Да, герр Ганфштенгль, а как вы смотрите на положение в мире и его влияние на Германию?» И затем дал возможность высказаться в течение нескольких минут, слушая с огромным вниманием и ни разу не прервав. Я боюсь, что именно эту черту он утратил во время восхождения к вершине власти.

– Ну что ж, – произнес я, – вы только что сражались на войне. Мы почти победили в 1917-м, когда Россия рухнула. Так почему же тогда в конечном итоге мы ее проиграли?

– Потому что в нее вмешались американцы, – сказал он.

– Если вы это признаете, мы с вами согласны, и это все, что вам надо знать, – продолжал я. – Во время войны я был там и могу вам сказать, что это абсолютно новый фактор в европейской политике. Где мы были в 1917-м? Французы бунтовали, британцам тоже надоело это дело, так что же произошло? Американцы мобилизовали два с половиной миллиона солдат на равном месте и направляли свыше 150 тысяч человек в месяц, чтобы удержать фронт. Если случится еще одна война, ее неизбежно выиграет тот, на чьей стороне будет Америка. У них есть деньги, они создали гигантскую индустриальную мощь, а вы будете игнорировать их на свой собственный риск. Единственно правильная политика, за которую вы должны ратовать, – это дружба с Соединенными Штатами. Это единственный для нашей страны путь к поддержанию мира в Европе и укреплению собственных позиций.

Казалось, что он понял все и пробормотал: «Да, да, должно быть, вы правы», но эта идея была для него столь нова, что он никогда так и не осмыслил ее. Его закадычные друзья имели тот же менталитет пехотинца, что и он, и всякий раз, когда мне казалось, что я его в чем-то убедил, всегда кто-то из них находил аргумент для нейтрализации моих аргументов, и мы опять возвращались к временам Клаузевица, Мольтке и кайзера. Своими вопросами Гитлер наводил меня на мысль, что его знания об Америке были крайне поверхностными. Он хотел знать все о небоскребах и восхищался ходом технического прогресса, но не был способен проанализировать имеющуюся информацию. Единственной американской личностью, на которую у него находилось время, был Генри Форд, но и тот не как индустриальный чудо-труженик, а как известный антисемит и возможный источник средств. Гитлер также страстно интересовался Ку-клукс-кланом, тогда находившимся в зените своей сомнительной славы. Похоже, он считал, что это политическое движение сходно с его собственным, с которым можно было бы заключить какой-либо союз. Я так и не смог разъяснить ему псевдоценности данного движения.

Скоро я обнаружил, что он находится под мощным влиянием Розенберга, который был больше теоретиком партии, чем каким-то пресс-атташе, которому меня представил Трумен-Смит. Он являлся антисемитом, антибольшевиком, антирелигиозным смутьяном, и Гитлер, видимо, был очень высокого мнения о его философских и писательских способностях. Пока на сцене несколько лет спустя не появился Геббельс, Розенберг был главным препятствием на пути моих попыток заставить Гитлера проявлять здравомыслие. На раннем этапе я, возможно, в ходе одной из бесед предупреждал Гитлера об опасностях расовых и религиозных диатриб Розенберга. Сам я протестант, но хорошо знал о глубоко укоренившихся католических чувствах населения Баварии, о чем и предупреждал Гитлера. Он всегда открыто признавал силу моих аргументов, но невозможно было предугадать, собирается ли он опираться на них в практической деятельности.

Я был настолько убежден, что экстраординарная сила ораторского мастерства Гитлера сделает его политической силой, с которой придется считаться, что полагал необходимым свести его с людьми, имеющими заметное положение и репутацию в обществе. Я познакомил его с Уильямом Байярдом Хейлом, бывшим сокурсником президента Вильсона в Принстоне, несколько лет работавшим ведущим европейским корреспондентом газет Херста. Он более или менее отошел от дел и предпочел проживать остаток своих дней в Мюнхене. Это был очень мудрый и интеллигентный человек, и я часто сводил его с Гитлером в отеле «Байришер-Хоф», где он жил. Был еще весьма талантливый немецко-американский художник Вильгельм Функ, у которого была роскошная мастерская, обставленная изысканной мебелью в стиле ренессанс с гобеленами, а также нечто вроде салона, который посещали люди круга принца Хенкель-Доннерсмарка и ряд по-государственному мыслящих состоятельных бизнесменов. Но когда они сделали завуалированное предложение о политическом альянсе, Гитлер отклонил его. «Я знаю этих людей, – сказал он мне. – Их собственные митинги пусты, и они хотят, чтобы я пошел за ними и заполнял для них залы, а потом делил прибыль. Мы, национал-социалисты, имеем свою собственную программу, а они, если хотят, могут присоединиться к нам, но я не стану их подчиненным союзником».

Я также свел его с семьей Фрица Августа фон Кольбаха, который был членом очень известной баварской семьи художников, и надеялся, что их цивилизованные умы и манеры смогут оказать положительное влияние на Гитлера. В какой-то период он также познакомился с Брюкманами, крупными издателями в Мюнхене, имевшими в числе своих авторов Хьюстона Стюарта Чемберлена. Наши семьи хорошо знали друг друга, и Эльза Брюкман, бывшая принцесса Кантакузен, которая была весьма пожилой женщиной, оказалась чем-то вроде протеже для Гитлера. На него большое впечатление произвел ее семейный титул, и они разделяли страсть к Вагнеру и Байрейту. Однако когда я выяснил, что она оказывает свое покровительство и Розенбергу, то решил для себя, что никогда больше не появлюсь в ее салоне. Ибо никак



не мог понять, как мог обмануть какой-то шарлатан семью, которая принимала Ницше, Райнера Марию Рильке и Шпенглера.

Для Гитлера это цивилизованное общество было чем-то совершенно новым, и его реакция имела какой-то налет наивности. Его также познакомили с семьей Бехштайн, производивших в Берлине свои знаменитые пианино, но часто бывавших в Мюнхене. Они пригласили его на обед в свой отель люкс в частный многокомнатный номер, и он мне рассказывал об этом с широко раскрытыми глазами. Фрау Бехштайн была в шикарном наряде, а ее муж надел смокинг. «В своем синем костюме я ощущал себя очень неловко, – рассказывал мне Гитлер. – Все слуги были в ливреях, и мы до еды ничего не пили, кроме шампанского. А если бы ты увидел эту ванную комнату, ведь там даже можно регулировать температуру воды!» Фрау Бехштайн была властной женщиной, и у нее возникли материнские чувства к Гитлеру. Долгое время она была убеждена, что сможет выдать за него свою дочь Лотту, и пыталась вначале приспособить его одежду к требованиям общества. Вероятно, в тот вечер она убедила его в необходимости покупки смокинга, накрахмаленных сорочек и лакированных туфель. Я пришел от этого в ужас и предупредил его, что ни один лидер движения рабочего класса не осмелится при нынешних условиях жизни в Германии появляться на людях в подобном виде. Поэтому он вряд ли когда-либо воспользовался этим нарядом, но у него возникло пристрастие к лакированным туфлям, которые он надевал при каждом удобном случае.

К этому времени я решил, что буду негласно поддерживать национал-социалистическую партию. Мои руки были в некоторой степени связаны тем, что я являлся членом семейной фирмы, и понимал, что любая помощь, которую я окажу, должна оставаться в тайне. Вскоре после того, как я начал ходить на гитлеровские митинги, я посетил Макса Амана в его убогой конторе на Тьерштрассе. Он к тому времени был коммерческим директором партийной еженедельной газеты «Фолькишер беобахтер». Первым, кого я там увидел, к своему смущению, была та вульгарная личность, которую я приметил на первом митинге, устроившая большой спектакль с целью убедить меня в том, что следует открыто вступить в партию и начать соответствующую кампанию среди ведущих мюнхенских семей. Он выхватил золотой карандаш и, подталкивая ко мне бланк заявления о вступлении в партию, начал напирать на меня. Он призывал меня подписаться на ежемесячный взнос в один доллар из доходов магазина, торговавшего предметами искусства, который я закрыл в Нью-Йорке, что в Германии при инфляционном обменном курсе составляло небольшое состояние. Я понял, что меня загоняют в ловушку, на которой тот намеревался нажиться, и сумел его отшить, а тут и Аман вышел из своего кабинета, находящегося внутри издательства. Он был грубым человеком, а воевал в чине сержанта. Он тут же меня понял и расположил меня к себе тем, что высказал вслух самые серьезные подозрения в отношении того, кто приставал ко мне, когда я вошел в контору. Партийные дела, похоже, окружала атмосфера заговора и интриг.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.